

И. Е. СИРОТКИНА

НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ДИСЦИПЛИНАРНОСТИ

Статья представляет собой рецензию на коллективную монографию «Науки о человеке. История дисциплин», сост. и отв. ред. А.Н. Дмитриев, И.М. Савельева (М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015). Книга, состоящая из 21 главы, – беспрецедентный труд по истории социогуманитарных дисциплин, которые не только для удобства, но и по теоретическим соображениям, авторы называют «науками о человеке». Для рассмотрения взят самый широкий период: от раннего Нового времени до наших дней, за которое многие дисциплины успели возникнуть, пройти век своего расцвета и исчезнуть или трансформироваться.

Ключевые слова: науки о человеке, история науки, социология знания, дисциплины, дисциплинарность.

Науки о человеке – термин сравнительно у нас новый, но емкий и многообещающий. Относительно нов он и в английском языке, а вот во французском “*sciences de l’homme*” – давняя и всеми принятая категория¹. Генеалогию наук о человеке начал составлять сам автор понятия о генеалогии идей, Мишель Фуко. Науки о человеке, считал он, могли появиться и появились только в эпоху модерна. Лишь в конце XVIII в., утверждал Фуко, сложился тот тип рефлексии, в котором человек делает себя как субъектом, так и объектом исследования. Как известно, это привело его к радикальному утверждению, что вплоть до конца XVIII века не существовали не только науки о человеке, но и их предмет – «человек»². Смелое заявление Фуко, впоследствии много раз оспоренное, стимулировало дискуссию: нужна ли категория «наук о человеке», чем эти науки отличаются от гуманитарных и естественных, где проходит граница. Категория эта шире, чем «гуманитарные науки», так как вмещает, к примеру, экономику; шире она и «социальных наук», поскольку включает историю и филологию. Водораздел начинается там, где идет речь о применении к человеку эволюционной теории и других биологических объяснений³. Такое разграничение выдает идейную ангажированность термина, но это только усиливает внимание к нему. Термин становится не просто крышей, прибежищем для тех наук, которые, с уничижитель-

¹ См.: Smith 1997. P. 4-25.

² Фуко 1994. С. 330; см. также обсуждение в: Смит 2014. С. 84-90.

³ Тот же Роджер Смит, например, включает главу о теории эволюции в упомянутую «*The Norton History of the Human Sciences*», но высказывается против включения биологических объяснений в знание о человеке в написанной десять лет спустя книге (Smith 2007); русский перевод: Смит 2014. Правда, эта последняя работа – апология исторического знания о человеческой природе и не претендует на охват всех наук о человеке.

ным названием «мягких», традиционно исключают из наук «твердых», «точных», «естественных». В этом разделении – вызов наук о человеке, их притязание, если не на первенство, то на суверенитет.

Итак, проект коллективной монографии, посвященной «наукам о человеке», таит в себе гораздо больше, чем просто намерение собрать под одной обложкой все имеющие отношение к изучению человека дисциплины. Пользуясь выражением философа науки М.А. Розова (много размышлявшего, в том числе, о дисциплинарности), можно сказать, что это – проект не только «коллекторский», но и «исследовательский»⁴. Кроме того, разговор о «дисциплинарности» знания о человеке не может не затронуть вопрос о специфике этого знания. О том, что этот интересный во многих отношениях проект давно привлекал внимание философов, историков науки и социологов знания, нам напоминает вводная статья А. Дмитриева «Дисциплинарные порядки в гуманитарных и социальных науках». Автор-эрудит приводит целый набор определений дисциплинарности и версий того, как и когда возникают дисциплины. С общепринятой точки зрения, «дисциплины складываются в период так называемой второй научной революции в рамках университетов, благодаря системе специализации, работе семинариев и лабораторий»⁵. Дмитриев предлагает включить в рассмотрение и то, что было раньше, до дисциплинарной науки, и то, как менялся набор дисциплин на каждом историческом этапе, и, конечно, происходящее сейчас, в эпоху «пост», время трансформации дисциплинарности. Методологию исследований, представленных в монографии, автор определяет как соединение историко-научного анализа и социологического подхода, а образцами для подражания называет «работы широкого исследовательского диапазона от известных трудов Фрица Рингера или Пьера Бурдьё до функционалистских исследований Нормана Сторера или Ричарда Уитли» (9). Планку нашим историкам задают и знаменитые case-studies: книги Мартина Куша о психологизме или Курта Данцигера о конструировании психологией своего предмета, Стефана Коллини и Ребы Соффер об интеллектуальной жизни Великобритании рубежа XIX и XX веков, Лорана Мюкиелли о возникновении социологии во Франции, и, конечно, Вольфа Лепениса о социологии в Германии. Что ж, примеры вдохновляющие – посмотрим, как ими воспользовались авторы коллективной монографии.

Книга делится на три части: 1) истоки дисциплинарности в раннее Новое время; 2) дисциплинарное поле наук о человеке, как оно существовало на протяжении двух последних столетий; 3) современные тенденции дисциплинарного развития. В книге есть и любопытное приложение: перевод (выполнен К.А. Левинсоном) работы Арнальдо Момильяно «Древняя история и любители древностей» (1950). Я начала свое

⁴ Розов 2004.

⁵ Науки о человеке... С. 8 (далее указываются только страницы в скобках).

знакомство с томом именно с него и не пожалела об этом: через анализ практик «изучения древностей» можно ошутимее понять, с чем мы часто имеем дело в спорах о разграничении дисциплин (в данном случае, это спор ученых-историков и археологов с «любителями древностей»). Но вернемся к началу книги. В первой главе «Генеалогия метода в науках об историческом мире» Павел Соколов связывает возникновение дисциплин с проблемой автономии метода. Историю борьбы за автономию он ведет от гуманистов Петра Рамуса, Джамбаттисты Вико, Лоренцо Валла и Марио Низолио, полемизировавших с традиционной аристотелианской концепцией науки, в которой ни один из разделов гуманитарного знания формально не имел статуса *scientia* (42). Автор не склонен принимать расхожее представление о том, что сначала науки о человеке оставались под пятой метафизики, а потом попали в рабство к естественным наукам. Вместо этого, он рассматривает противостояние в XVII в. философов и филологов: первые совершенно игнорировали историю, литературу и право, а последние, привязанные к древним текстам, не терпели малейшего отступления от их буквы. Неудача «священной филологии» «продемонстрировала невозможность построения гуманитарной филологии из перспектив одной дисциплины» (52) и, следовательно, как можно предположить, необходимо целого корпуса наук о человеке.

В главе «“История идей” и “гражданская наука”»: границы дисциплинарности в раннее Новое время» Юлия Иванова утверждает, что «дисциплинарное сознание» существовало еще до институционализации наук о человеке. Такой вывод она делает, рассматривая конфликт между проектом единой «гражданской науки» – *scientia civilis* или *scienza nuova* у Вико – и возникновением, примерно в это же время, дисциплинарной матрицы (53). Заодно автор пишет собственно о проекте Вико по «реконструкции подлинной – социальной – природы всякого знания». Этот проект мотивирован тем, что, по словам Вико, которого удачно цитирует автор, естественные науки на могут «защитить природные тела от разрушения и смерти» (63). И все же речь-манифест Вико 1708 года против изоляции наук не остановила этого процесса, и «оппозиция дисциплинарности» стала лейтмотивом наук о человеке у таких мыслителей, как Шеллинг, Ницше, Гадамер и Хайдеггер (72). Заключительная глава этого самого краткого из разделов, написанная Наталией Осминской, посвящена проекту «всеобщей науки» Г.В. Лейбница. О такой науке, соединяющей в себе науку о творце и науку о творении, Лейбниц пишет, в частности, в «Опытах, возводящих к счастью» (1679). Автор рассматривает, как эта идея подготавливалась и формулировалась, начиная с юношеских работ Лейбница и до его «Плана написания Энциклопедии». Автор также отмечает изменения в лейбницевской классификации наук, связывая их с переосмыслением им учения о субстанции. К этому можно было бы добавить несколько слов о том, как на эти изменения влияла

многогранная деятельность Лейбница по организации науки. К сожалению, автор остается в рамках историко-философского анализа, не касаясь социальной, политико-экономической или какой-либо другой подоплеку изменений в грандиозном проекте Лейбница.

Второй раздел – «Золотой век дисциплиностроительства» – самый обширный. Открывает его статья Лорен Дастон о Берлинской академии наук и «мировой карте знания». Эта глава как бы принимает эстафету у главы про Лейбница (несмотря на то, что Н. Осминская, не сказав ничего о роли Лейбница в устройении этой академии, эстафетную палочку Л. Дастон не протянула). Цель этой статьи, как определяет ее автор, – понять, почему немецкие академики в XIX в. чувствовали себя «подмастерьями» и тосковали по «мастеру», который бы их объединил, – Лейбницу с его проектом всеобщей науки. Это особенно очевидно в сравнении с другими национальными академиями – Королевской академией наук в Париже и лондонским Королевским обществом. Обнаруживается парадокс: члены Берлинской академии и профессора Берлинского университета мечтали о фигуре типа Лейбница или братьев Гумбольдтов – символе утраченного единства наук; в то же время, именно Берлинский университет сделал все, «чтобы время таких синтетических умов ушло в прошлое» (117). Исследовательские семинары, государственные стипендии для студентов и правительственные субсидии на публикацию диссертаций – все это помогало росту и диверсификации университетской науки. Семинары, столь важные для формирования дисциплин (о них в книге упоминает не только Л. Дастон), интересны своими практиками, в том числе, телесными. Так, «Гельмгольц полагал, что специализация является неизбежной и необратимой из-за тех навыков, которыми должен обладать современный исследователь», включая ручные умения и навыки (119). Семинары были также тем местом, где между участниками возникали «невидимые нити доверия» и даже получили эллинистическое название «Thiasos» – собраний посвященных (123). Одна из причин того, что мечта о единстве наук не покидала немецких ученых кроется, по мнению Л. Дастон, в том, что само слово «единство» вызывало ассоциации с политическим объединением Германии.

Продолжая тему немецкой науки, Петр Резвых пишет о «мифологии» (Mythologie) как одной из дисциплин романтической Altertumswissenschaft (науки о древности). «Мифология» развивалась как филологическая субдисциплина, но могла рассматриваться и как самостоятельная наука. Автор детально описывает драматический момент в истории «мифологии», стоивший ей существования, – полемику Ф. Крейцера, И.Г.Я. Германна, И.Г. Фосса и др. по вопросу о древнейшей монотеистической религии и общей смысловой матрице всех мифов. Спор был нагружен политическими смыслами: стороны изображали друг друга «псевдонаучными шарлатанами, врагами свободы слова, противниками

Просвещения и тайными агентами католической церкви в протестантском университете» (154). Научная непроработанность и недостаточная дифференцированность «мифологии» превратила ее в арену политических противостояний. На ее останках выросли такие дисциплины, как древняя философия, древняя история, археология, история искусства и история религии. Коллапс романтической мифологии обусловил обособление истории религии и религиоведения, а также отозвался в классико-филологических штудиях раннего Ницше и Эрвина Роде, Вячеслава Иванова и Карла Кереньи, в теории архетипов К.Г. Юнга (156). В пандан статье Резвых – следующая глава, написанная Владиславом Боярченковым о «науке русских древностей» в первой половине XIX в. Критерием ее «онаучивания» выступало распространение на изучение русских древностей исторической критики источников. Становлению в России истории как дисциплины в XIX в. посвящено исследование Владимира Береловича, проанализировавшего несколько десятков предисловий к трудам по русской и украинской истории. Этот анализ показал, что наряду с профессионализацией истории, авторы сохраняли ориентацию на широкую аудиторию (что уже в наши дни получило название «публичной истории»), о чем – статья И.М. Савельевой в заключительном разделе книги).

Восьмая глава, написанная Мишелем Тисье, – о российском правоведении. Автор начинает с обсуждения статуса правоведения, которое традиционно не считается одной из «гуманитарных» или «общественных» наук. На примере российской истории, он оспаривает мнение о «блестящей изоляции права и как университетской (и практической) дисциплины, и как “чистой” науки от иных сфер социогуманитарного знания» (238). Правоведы обращались к другим наукам о человеке, в частности, за тем, чтобы разрешать постоянно возникающие в их области конфликты между теорией и практикой, между «наукой» и «жизнью». Тем не менее, элитизм в правоведении, будь то на благо или во вред его дисциплинаризации, продолжал существовать. В следующей главе Григорий Юдин анализирует знаменитую дискуссию о *Naturwissenschaften* и *Geisteswissenschaften*, вернее, ту позицию, которую в ней занимал Э. Гуссерль. Интерес Гуссерля к этой проблематике вырос, как известно, из его попыток противостоять психологизму. Гуссерль принял дильтеанскую идею всеобщей науки о духе как «новый, лучший и дальше всего ведущий путь в феноменологию» (250). Его позиция противостояла «паритетной» модели знания, согласно которой «равноправие между естественными и гуманитарными науками опирается на общее для тех и других философское обоснование, в то время как критерий их разделения является специфическим предметом теории познания» (241). Утверждая, что «природа и дух не могут быть рядоположными регионами просто потому, что они не равны в своем отношении к конституирующей субъективности» (261), Гуссерль разрушил онтологический пари-

тет. По мнению Юдина, притязания наук о человеке на равенство с естественными науками и их отделение от философии сегодня уже не представляют эффективную стратегию. Гуманитариям надо, вслед за Гуссерлем, отказаться от паритетной модели знания и противопоставить экспансии натурализма «использование потенциала философии в научном познании духовного мира» (что бы это ни значило) (262).

Затем мы переходим к зарождению социологии как дисциплины в специфическом контексте Российской империи (статья Ильи Герасимова, Марины Могильнер и Александра Семенова). Авторы пишут, что социология в России развивалась по двум направлениям: во-первых, внутри народничества, где главной категорией в анализе социальных отношений являлся «народ», а не общественные институты и практики, и, во-вторых, как академическая университетская дисциплина в духе Огюста Конта, «обобщающая результаты, полученные в разных областях знания об обществе» (274). Представителем этой последней был М.М. Ковалевский, чьим именем названо первое в России социологическое общество. Если народническая социология видела в крестьянской общине основу будущего строя, эволюционная социология, которой придерживался Ковалевский, прогнозировала преодоление Россией своей отсталости и «сближение с европейскими формами социальной и политической организации» (277). Ковалевский одобрительно относился к американской модели ассимиляции (281). Не удивительно, что институционализация такой социологии началась в эмиграции, в Русской высшей школе общественных наук, основанной в 1901 г. в Париже (в том числе, Ковалевским). В самой Российской империи социология продолжала считаться неблагонадежным предметом. И только в первое десятилетие советской власти социология потеснила историю как обязательный предмет школьной и университетской программы. Правда, советская социология, где доминировала марксистская теория смены общественно-экономических формаций, очень мало походила на критическую теорию – об этом далее статья А.Ф. Филиппова.

От социологии – к психологии, которая в России получила свою институционализацию даже раньше, поскольку вызывала меньше вопросов со стороны властей. Говоря о дисциплинарном становлении русской психологии, Антон Ясницкий претендует на большее – фактически, на то, чтобы «ревизовать» историографию русской психологии и преодолеть «давний застой», который, по его мнению, существует в этой области. Видимо, делать это он предполагает в одиночку, поскольку надежды на «радикальное обновление и фундаментальный прорыв в этой области знания» связывает с собственными работами (сн. 3 на стр. 299). Читатель теряется в догадках: если, кроме работ самого Ясницкого, никто больше об истории психологии в России не писал, кого же и что именно собира-

ется ревизовать автор?⁶ Посмотрим, что же новаторского в его статье. Психология, пишет он, – «сложное социокультурное явление, которое рассматривается на разных уровнях и в рамках, задаваемых двумя полюсами: с одной стороны, философия, с другой – индустрия и народное хозяйство». Но такое определение – общее место, и таблицы, которые приводит А. Ясницкий, вряд ли могут добавить что-то новое. То же относится к усиленно повторяемой им мысли об «импорте» психологии в Россию: читатель, знакомый с историей российской науки, которая со дня своего основания представляет «импортный продукт», укорененный Петром Первым на нашей почве, не увидит в этом заявлении ничего оригинального. Вероятно, взорвать сознание историков должен последний тезис статьи – мысль о том, что печально известный Педологический декрет 1936 года не нанес, как считалось раньше, урона развитию психологии, – а, напротив, ознаменовал начало ее «золотого века». В силу своей полемичности, это утверждение нуждается в особенно тщательном доказательстве, чего, к сожалению, читатель в статье Ясницкого не находит. Институционализация психологии в университетах, которую автор приводит в подтверждение своей мысли, приходится не на конец 1930-х, а на последующее десятилетие, и связана, главным образом, с основанием факультетов философии (об этом – отличная статья М. Дёмина в рецензируемой книге).

Ревизионистской скорее можно назвать главу «Советская социология как полицейская наука». Александр Филиппов – мастер точного и ясного изложения, и его работы – интеллектуальный пир для читателя. Термин, который он использует – «полицейская наука» – не оценочный, а означает «управленчески-экспертную систему полицейского государства» (331). В свою очередь, «полицейское государство» (не путать с тоталитарным) определяется как система бюрократического управления, опирающаяся на насилие. По мнению автора, социология появилась тогда, когда СССР перестал быть тоталитарным государством (хотя родовые черты тоталитаризма, замечает Филиппов, сохранялись в Советском Союзе до последних его дней). Но в 1970-е годы, когда увеличилась горизонтальная мобильность и расширился словарь мотивов, социология смогла побороться за место в системе экспертного знания с другими управленческими дисциплинами и, прежде всего, марксистской идеологией. Ей удалось встроиться в систему, назвавшись «теорией среднего уровня» – промежуточной между мировоззренческими, рамочными концепциями марксизма и эмпирическими исследованиями. Для того, чтобы

⁶ С некоторой литературой читатель может познакомиться в библиографии к статье: *Sirotkina I., Smith R.* Russian Federation // *The Oxford Handbook of the History of Psychology: Global Perspectives.* New York: Oxford University Press. P. 412-442; русский перевод: *Сироткина И., Смит Р.* История психологии в России: краткий обзор с авторскими акцентами. Препринт ИГИТИ. М.: Высшая школа экономики, 2016.

отвести подозрения в покушениях на марксизм, институту социологии пришлось назваться Институтом конкретных социальных исследований. Предстояло еще вписаться в систему государственного планирования, когда все регулировалось сверху и заранее. Здесь социология позиционировала себя как полезную прикладную дисциплину, которая «отслеживает массовые процессы», открывает «законы-тенденции» и создает ресурсы для «целенаправленного развития» (348). Постольку, поскольку социология представляла себя как «науку о регуляции поведения, трансформации мотивов и распределении стимулов для достижения общего блага в бюрократическом социально-полицейском государстве», ее можно считать, заключает автор, «полицейской наукой».

Глава под счастливым номером 13 посвящена «дисциплинам и специальностям в практических профессиях и в исследовательской деятельности». Речь идет о соотношении в университетах преподавания и исследовательской деятельности, а также о критериях профессионализма в той и другой сферах деятельности. Автор, Рольф Тоштендаль, анализирует немецкие университеты с середины XIX в. до 1940-х гг. Преподавательский профессионализм, считает он, «укоренен в сообществе, которое охватывает различные дисциплины, но по составу членов является локальным или, самое большее, национальным, в то время как основа исследовательского профессионализма – сообщество, которое включает в себя ученых со всего мира, хотя при этом и является узко специализированным» (371). Эта глава завершает второй раздел.

В последнем разделе читатель может узнать о том, что случилось «после дисциплин». Вопрос ставится так: ждет ли нас «новая дисциплинарность» или нечто иное? О социологии профессий и социологии как профессии – вторая статья Г. Юдина в сборнике. Автор рассматривает предложенную Т. Парсонсом модель социологии как профессии, построенной вокруг научной дисциплины. Эта модель не только подверглась критике за узкое понимание профессионализации, но и стоила американской социологии потери поддержки широкой публики. К счастью, считает Юдин, эта модель легитимации – не единственная (388). Глубок и интересен анализ Борисом Степановым области *cultural studies* / культурологии, ее попыток конституировать себя как научную дисциплину, найти свою академическую идентичность. При этом ей приходилось конкурировать с социологией, литературоведением и другими дисциплинами, подчас безуспешно. Культурные исследования, пишет автор (404), часто изображались как «академический Чужой» – или, добавим мы, академический Другой. Но поскольку проект с самого начала предполагался как «критический», рефлексивный по отношению к истеблишменту, неудачи представителей *cultural studies* не обескураживают. Сохранит ли свою левизну и радикальность этот проект, будучи перенесен на отечественную почву, – вопрос времени.

Глава, написанная одним из редакторов-составителей монографии, Ириной Савельевой, посвящена публичной истории – жанру, чье место по отношению к общей истории еще предстоит определить. Основное отличие публичной истории в том, что она делается историком вместе с его аудиторией, во взаимодействии с публикой (понятие «публика» при этом меняет свой смысл). Так, упомянутый автором публичный историк Людмила Иорданова (Jordanova) при изучении истории визуальности активно опирается на экспертное знание непрофессионалов – коллекционеров, энтузиастов, любителей. В ее случае, как и во многих других, речь идет не просто о популяризации науки, а о «совместном производстве исторического знания» (427). Похоже, отмечает И. Савельева, подходит к концу период, когда историки писали только для историков, а популяризация исторических знаний почти полностью перешла в руки посредников (431). Причина – демократизация западного общества, с одной стороны, и попытка «вернуть индивиду коллективную память», с другой (436). Оба процесса имеют непосредственное отношение к политическим интересам, и здесь очень остро встанут вопросы о критериях качества, истинности знания и о профессионализме публичного историка. Взаимоотношения между научной и публичной историей – отличный повод отразить наши представления о научной истине, историческом методе и академическом письме.

Глава о разделении лингвистики и языкознания в отечественных университетах – не только содержательная, но и яркая и личная: за многими описаниями стоят глубокие чувства автора, Владимира Файера, по поводу происходящих событий. Речь идет об образовании в лоне филфака МГУ отделения структурной и прикладной лингвистики, о негативной реакции на это событие ортодоксальных языковедов и о том контексте, международном и отечественном, в котором всё происходило. Противостояние, утверждает автор, продолжается: наряду с лингвистикой продолжает существовать традиционная парадигма языкознания, не выделяющего себя из филологии. Ситуация дисциплинарной неопределенности осложняется различным отношением направлений к науке-метрополии (филология) и развитием новых научных направлений – семиотики или когнитивной науки, которые работают поверх сложившихся дисциплинарных границ (482).

Чрезвычайно интересен анализ Максимом Дёминым тех перемен, которые произошли в университетской философии после распада СССР. Автор начинает с описания философии как кафедральной науки или становления философских факультетов в советское время. Появление философии в советских университетах автор связывает с позднесталинским возвращением к имперской стилистике и оживлением интереса к классическим дисциплинам (488). Развитие кафедральной философии контролировалось столь тщательно, что снятие контроля в конце 1980-х не могло не привести философов в замешательство. Они, однако, не про-

шли переаттестацию (как в Восточной Германии) и отделались косметическими преобразованиями, касавшимися лишь названий (497). Так, на философском факультете МГУ кафедра диамата получила название кафедры теоретической философии, кафедра истмата была переименована в кафедру социальной философии, а кафедра теории и истории научного атеизма стала называться кафедрой религии и религиоведения. (Добавлю, из личных воспоминаний, что наш преподаватель научного атеизма не скрывал, что учился в Духовной академии, и мне легко представить его трансформацию в религиоведа). Результатом такой адаптации стало то, что советскому прошлому так и не было вынесено оценки, что весьма затрудняет текущие дискуссии в среде философов. Позиции университетских философов Дёмин характеризует как «смещение двух стратегий поведения – лояльности и саботажа» (507). А это приводит к изоляционизму философского знания, потери связи с другими дисциплинами, невозможности соотноситься с иными философскими традициями.

Глава, написанная Ростиславом Капелюшниковым, возвращает нас к экономике, правда, в новом ее варианте – экономике поведенческой. Выступив с критикой «велферистского» (welfare) подхода, поведенческая экономика продемонстрировала, насколько реальное экономическое поведение людей далеко от рациональной модели поведения, на которой зиждется ортодоксальная экономика. Одну из альтернатив как велферистской, так и поведенческой экономике автор видит в либеральной, в широком смысле слова, традиции, строящейся не вокруг идеи благосостояния, а вокруг идеи свободы. Следующая глава – «Транснациональные иерархии и локальные порядки знания в экономике» Олеси Кирчик – продолжает анализ экономической науки, фиксируя такие ее черты, как глобализация, американская модель, интернализация постсоветской экономики (правда, в ограниченном объеме) и др. Заключительную, 21-ю главу Александр Дмитриев и Оксана Запорожец посвятили обзору того, как меняется социология знания. По мнению авторов, от обобщенных схем социокультурной динамики и структурного описания академических организаций и сообществ, социология знания переходит к описанию знаний и практик (569). Важными становятся понятия «агента» или «культуры знания». Авторы констатируют отказ от эссенциалистских трактовок дисциплинарности, внимание к социальным и практическим условиям ее устойчивости, учет макро- и микроконтекстов создания знания (598).

Книга порадует читателя не только свежим и содержательным анализом дисциплиностроения и дисциплинодеконструкции, но и своим единством (которого в коллективных монографиях далеко не всегда удается достичь). В ней также развитие социогуманитарных дисциплин – наук о человеке – рассмотрено на протяжении пяти веков, и один этот факт может сделать ее фундаментальным вкладом в историю науки и интеллектуальную историю в целом.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Науки о человеке. История дисциплин / Сост. и отв. ред. А.Н. Дмитриев, И.М. Савельева. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015.
- Розов М.А. «Парадигма», «дисциплина», «коллекторская программа» // Высшее образование в России. 2004. № 9. С. 136-141.
- Сироткина И., Смит Р. История психологии в России: краткий обзор с авторскими акцентами. Препринт ИГИТИ. М.: Высшая школа экономики, 2016.
- Смит Р. Быть человеком: история и сотворение человеческой природы / Пер. с англ. И. Мюрберг под ред. И. Сироткиной. М.: Канон+, 2014.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб.: А-сэд, 1994.
- Sirotkina I., Smith R. Russian Federation // The Oxford Handbook of the History of Psychology: Global Perspectives. New York: Oxford University Press, 2012. P. 412-442.
- Smith R. The Norton History of the Human Sciences. N.Y.: W.W. Norton & Co. 1997.
- Smith R. Being Human: Historical Knowledge and the Creation of Human Nature. Manchester: Manchester University Press; New York: Columbia University Press, 2007.

REFERENCES

- Nauki o cheloveke. Istoriya distsiplin / Sost. i отв. red. A.N. Dmitriev, I.M. Savel'eva. M.: Izdatel'skii dom Vysshei shkoly ekonomiki, 2015.
- Rozov M.A. «Paradigma», «distsiplina», «kollektorskaya programma» // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2004. № 9. S. 136-141.
- Sirotkina I., Smit R. Istoriya psikhologii v Rossii: kratkii obzor s avtorskimi aksentami. Preprint IGITI. M.: Vysshaya shkola ekonomiki, 2016.
- Smit R. Byt' chelovekom: istoriya i sotvorenie chelovecheskoj prirody / Per. s angl. I. Myurberg pod red. I. Sirotkinoi. M.: Kanon+, 2014.
- Fuko M. Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnykh nauk / Per. s fr. V.P. Vizgina, N.S. Avtonomovoi. SPb.: A-cad, 1994.
- Sirotkina I., Smith R. Russian Federation // The Oxford Handbook of the History of Psychology: Global Perspectives. N.Y.: Oxford University Press, 2012. P. 412-442.
- Smith R. The Norton History of the Human Sciences. N.Y.: W.W. Norton & Co. 1997.
- Smith R. Being Human: Historical Knowledge and the Creation of Human Nature. Manchester: Manchester University Press; N.Y.: Columbia University Press, 2007.

Сироткина Ирина Евгеньевна, кандидат психологических наук, PhD, ведущий научный сотрудник Института истории науки и техники РАН; isiro1@yandex.ru

The human sciences before, during, and after disciplinarity

The article is a review of the collection, *The Human Sciences: History of Disciplines*, ed. by A.N. Dmitriev and I.M. Savelieva (Moscow: The Higher School of Economics Press, 2015). The collection of 21 articles-chapters is an unprecedented work of scholarship on the history of the social sciences and the humanities. For the reasons of both convenience and theoretical significance, they are termed, “the human sciences”. Chronologically the studies cover five centuries, from the early modernity till nowadays, a long period in which numerous disciplines emerged, flourished and either disappeared or were transformed.

Keywords: the human sciences, history of science, sociology of knowledge, disciplines, disciplinarity.

Irina Sirotkina, Candidate of Science, PhD, Researcher at the Institute for the History of Science and Technology, of the Russian Academy of Sciences; isiro1@yandex.ru